

Николай Мурзин*

НЕУДАЧА КАК ФИЛОСОФСКИЙ СЮЖЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО**

НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «БЕСЫ»

Получено: 02.03.2021. Рецензировано: 26.08.2021. Принято: 03.09.2021.

Аннотация: Достоевский часто изображает своих героев претерпевающими серьезный жизненный кризис или даже крах. Неудача — перманентное состояние их начинаний и проектов. В состоянии неудачи их души открывают в себе глубинную неудовлетворенность, незаполненность актуальным содержанием, отчуждение от мира, других людей и самих себя. Мировая философия рассматривает такую ситуацию как некую драматическую норму человеческой судьбы: от Гераклитова смыслообразующего Раздора и Парменидова неожиданно бытийствующего ничто до Платонова Эрота, вожделеющего к тому, чего он сам лишен и чем он не является, и Гегелева «несчастливого сознания», обнаруживающего, что его первый проблеск в этом мире — Я — еще пуст и неопределенен, и стать чем-то ему пока только предстоит в размышлении и труде. Но в русском философско-художественном дискурсе у Достоевского эта ситуация обращается из драматической в трагическую, а фигура недоволенного человека демонизируется. «Оторванные» от почвы и жизни Я накапливают в себе особого рода силу, но сила эта сплошь и рядом преподносится как разрушительная. Индивидуум в поисках себя обречен найти не себя, а дьявола, а точнее — ничего не найти, поскольку дьявол, по Достоевскому, не что иное, как дух небытия. Становление, процессуальность — нечестивые стигмы для русской мысли и духа, чреватые революциями и нравственной катастрофой. Достоевский отвергает диалектику; его произведения призваны показать, что есть лишь жизнь (реальное, истинное, благое, божеское) и противостоящее ей ничто (дьявольское, смертоносное). Неудачливость, неудачность — роковая печать на человеке, означающая его затронутость ничто и закрывающая все перспективы для него, вместо того чтобы открывать их.

Ключевые слова: неудача, Достоевский, «Бесы», Ставрогин, Верховенский, ничто, отрицание, революция, господа и рабы, славянофильство, Россия, Христос.

DOI: 10.17323/2587-8719-2021-3-92-116.

*Мурзин Николай Николаевич, н. с. Центра философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН (Москва), shywriter@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-0439-2019.

**© Мурзин, Н. Н. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустении находится?

А ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-Дурачку достается.

Знаю, знаю, матушка, нехорошо это думать, это вольнодумство...

«Бедные люди»

Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор.

«Тоже ведь и я человек», может быть, думал он или чувствовал, подавая: — «перед Богом-то все равны».

«Записки из мертвого дома»

ВВЕДЕНИЕ

Герои Достоевского, как правило, люди провальные, неуспешные. Раскольников — нищий студент и безумный прожектор; Ганечка — карьерист, сходящий с ума от денег; Верховенский — сын приживальщика и организатор несостоявшегося бунта в провинции; Кириллов — бросивший все во имя идеи инженер. Успешные, наладившиеся люди если и оказываются в числе его персонажей, то на вторых, если не третьих ролях: генерал Епанчин, Маврикий Николаевич, студент Разумихин, — и автору они, кажется, не слишком интересны. Даже те его герои, что формально имеют некие признаки преуспевания (богатство Рогожина, социальный статус Свидригайлова, Мышкина, Ставрогина), все равно несчастны, не удовлетворены, одержимы страстями и чувством собственной ущербности, мучают себя и других. Они, в сущности, неудачники. Но в картине мира Достоевского это означает нечто большее, чем проблемы с самореализацией. Состояние неудачи лучше всего высвечивает «психологические бездны» человека, до которых столь охоч автор. Человеческое сознание, по Гегелю, исходно «несчастно» (Я на первом этапе самообнаружения осознает, что у него нет ничего, кроме него самого, что оно еще пусто). В состоянии же неудачи, вместо того чтобы сняться через обретение содержания и успешное встраивание в мир, в общество, в культуру, несчастье Я усугубляется,

обнажает до предела нестыковку его и мира. Это голое, отброшенное Я, «Посторонний» Камю.

Но что означает «состояние неудачи»? Это не просто какое-то одномоментное поражение, какое может постигнуть любого. Неудачник — это человек, пребывающий в состоянии неудачи перманентно, или даже — в сознании неудачи — изначально, еще до всяких реальных жизненных неудач; и это меняет его сознание. Он живет с мыслью, что он не только неудачлив, но, возможно, и неудачен как экземпляр человеческий. Он отброс общества, мусор истории. (Вспомним «годных» и «негодных» у греков, «негодяев», поминаемых в Евангелии, дарвиновский естественный отбор, мальтузианскую теорию «отбраковки лишних»). Он исходно обречен на поражение, он «лишний человек», не нужный и не могущий найти себе места в мире.

Тогда перед ним встает выбор в духе Гамлета: признать свою ничтожность (буквально согласиться с тем, что отказ бытия — от него и ему — оправдан; «я плох, я грешен, я никуда не гожусь»), или восстать на эту «онтологическую несправедливость» («свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»), как постановляет подпольный человек (Д15. Т. 4: 543), раз у него тоже есть сознание, чувство Я, как у других («чем я хуже?»), и он страдает от униженности (тема человеческого достоинства — одна из ведущих в западной культуре начиная с эпохи Возрождения). Восставший неудачник примыкает к Ницшевым «канальям», исполненным resentment (злости, зависти, жажды мести). Чем больше у него неудач, тем мощнее прогрессирует его недовольство.

В одной неудаче еще можно винить себя; но если они продолжают и преследуют тебя, трудно не поддаться параноией и не начать видеть в этом некую глобальную несправедливость, агенты которой — все и вся: другие, общество, страна, мир, судьба, Бог. Неудача все время повышает ставки в поисках причины / вины. Неудачник становится своего рода мыслителем даже, исследователем себя, людей и мира — но злым, одержимым желанием исправить несправедливое обращение с ним, взять свое. 19-й век, век Достоевского, одержим этой темой. Социальное устройство в глазах его мыслителей начинает представлять как мрачная пародия на Платоновое устройство государства: есть удачливые и успешные — господа (вместо философов-правителей); есть неуспешные, но принявшие это — рабы, маленькие люди (на месте демиургов); и есть неуспешные, но бунтующие, желающие опрокинуть «плохой мир» (на месте воинов). Таких вот «воинов несчастья» и описывает Достоевский.

«БРОЖЕНИЕ УМОВ, НИ В ЧЕМ НЕ ТВЕРДЫХ»:
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ
ВОЛНЕНИЙ В «БЕСАХ»

В «Бесах», где бунт, заявление своеволия вообще главная тема, Достоевский (и его оракул-рассказчик) последовательно подводят читателя к тому, что промежуточные, межеумочные существа, разночинцы, «третье сословие», потерявшееся между господами и рабами — и есть бродящий элемент любой революции.

У нас появились разные людишки. В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых передовых говорю, которые всегда спешат прежде всех и хотя очень часто с глупейшею, но все же с определенной более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собой изо всех сил беспокойство и нетерпение... Дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть (Достоевский, 2020: 413–414).

Шатов, нападая на Ставрогина, выражает недоумение: как тот мог «затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость» (то бишь, тайное общество Петра Верховенского, предводителя провинциальных революционеров-неудачников). Ставрогин с ним, в общем, не спорит; действительно, спрашивает он, «как я мог затереться в такую трущобу» (там же: 222).

Попробуем ответить Шатову за Ставрогина и Достоевского. М. Горький в статье «О карамазовщине» определяет Достоевского как диагноста главной болезни русского общества, в котором окаменевшие за века отношения господства и подчинения делят людей уже не экономически или политически, а психопатологически — на садистов и мазохистов. Власть, не встречающая со стороны народа никакого сопротивления, осененная историческим и сакральным авторитетом, обречена вырождать любой свой *modus operandi* в чистый, беспримесный садизм. Губернатор фон Лембке, видя собравшихся у его крыльца рабочих закрывающейся фабрики, реагирует мгновенно и совершенно неадекватно: «Шапки долой!», «Розог!» (там же: 391). Ничего другого в его сознании не всплывает. Народ приучается терпеть этот произвол и даже развивает в себе, под его прессом, своего рода святость — то самое пресловутое «долготерпение», ложное и искусственное, на самом деле.

Но вот появляются третьи люди, выпадающие из этого расклада и могущие бросить ему вызов. Апология революции склонна ставить на это место прогрессивный элемент, «непоротое поколение». Однако у Достоевского мы видим скорее гибридное, кентаврическое, посредничающее между мирами явление — садомахозистов от классовой борьбы. Этих людей отмечает лабильное, как сказали бы психологи, поведение, они постоянно оборачиваются то одной, то другой стороной. Петр Верховенский, лидер бунтовщиков, с ними и с прочими, коих мнит ниже себя, строг и даже груб, но перед Ставрогиным, которого ставит выше себя, заискивает и лебезит, причем непритворно, хотя и сам себя ненавидит за это. И все же Верховенский нацелен вверх (его выдает фамилия), он хочет сам стать господином — стопроцентным господином в новом обществе, где все люди, согласно его любимому теоретику Шигалеву, разделятся по простому принципу

на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо (Достоевский, 2020: 364).

Понятно из этого, что Верховенский никакой не революционер — что, впрочем, он и сам признает в разговоре со Ставрогиным: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» (там же: 378). Он реакционер и реставратор; он хочет не ниспровергнуть власть, а наоборот, спасти ее и навсегда возвести на недостижимую высоту — вот только не нынешнюю власть, а власть как сущность, через будущую, абсолютную, свою. Себя он заранее записывает в вожди: «мы, правители», говорит он Ставрогину (там же: 377).

Верховенский воплощает крайнюю нестабильность третьего, промежуточного социального элемента. «Неудачники» никуда не вписываются именно потому, что они двойственные существа. Из-за того, что в них соприисутствуют господство и рабство — в них кипит непрекращающаяся реакция, дающая им топливо для действия. Верховенский хочет, в конце концов, выжечь из себя второй элемент, стать, после победы революции, чистым вождем, монолитным и единым. Пока же он использует элемент рабства в себе для притворства перед нынешними господами, слабыми и глупыми, несмотря на весь свой привычный апломб и даже садизм, и с удовольствием играет перед ними шута. Единственный из господ, которого он ставит вровень с собой — это его кумир, Ставрогин. Но понятно почему: Ставрогин тоже неприкаянное, бродящее существо, безумный тигель, в котором все время вылав-

ляются (или до недавнего времени выплавлялись) невероятные идеи и настроения, «энервирующие» других падших и неудачников (Ставрогин воздействует только на них). Шатов обвиняет Ставрогина в том, что тот наполнил сердце Кириллова ядом. Но он тут же признает, что и сам он, Шатов, со всеми своими мыслями и страстями, вырос из брошенных Ставригиным похода несколько лет назад слов — хотя бы и «огромных слов» (Достоевский, 2020: 226).

Тем более любопытно, что Ставрогин отвергает все предложения Верховенского и отказывается примыкать к нему — даже во имя будущей безграничной власти. Это отдельный интересный вопрос, почему; о Ставригине и так написаны горы критической литературы, он самый захватывающий персонаж «Бесов» и, может быть, у Достоевского вообще. Сейчас же отметим следующее. Ставрогин, в отличие от Верховенского, идет не вверх, а вниз. Он изначально из господ, и ранние выходы его — точь-в-точь уловленные Горьким безнаказанный садизм и издевательство скучающего «господина». Но вот дальше начинаются странности. Ставрогин меняет линию своего поведения, да так, что это начинает бросаться в глаза. Можно бесконечно ломать копыя, что с ним произошло: нравоперемена? выгорание?¹ Так или иначе, он не только перестает утверждать над другими свою былую садистскую власть (бессмертное укушенное ухо Гаганова-старшего), но даже и напротив, начинает терпеть и принимать от них: очень уступчиво ведет себя с жаждущим дуэли и мести за поруганную честь отца Гагановым-младшим, сносит знаменитую пощечину от Шатова, Верховенскому, наставившему на него пистолет, спокойно говорит: «А что ж, убейте» (там же: 477). Ставрогин, по тем или иным причинам, не хочет и не может больше быть господином. А это значит, что в нем, в отличие от Верховенского, выгорает этот элемент, а не подчиненный. Но в поляризованном обществе можно быть или одним, или другим — третье исключено, или нестабильно и держится лишь до поры, пусть и производя вокруг себя невероятную разрушительную энергию. Стать

¹Интересно об этом у К. Мочульского. «В самых ранних набросках Князь (Ставрогин) — русский аристократ, который вдруг понимает всю бессмысленность своего существования. Человек сильный, богато одаренный и искренний, он бурно переживает страшный нравственный кризис и судорожно ищет выхода... Его поражает мысль: так дольше жить нельзя. И вдруг — полное крушение всех надежд на спасение Ставригина. Какая-то таинственная катастрофа происходит в его судьбе... Николай Ставрогин вошел в мир Достоевского не как спасающийся христианин, а как трагическая маска, от века обреченная на гибель» (Мочульский, 1947: 347).

в буквальном смысле рабом, рабом других, Ставрогин не может, конечно. Но и оставаться господином у него не получается. Значит, он обречен на самоуничтожение.

НЕУДАЧНИК PAR EXCELLENCE:
СУДЬБА СТАВРОГИНА

Раскольников, Ганечка, Верховенский, Смердяков изначально подавлены и унижены внешними обстоятельствами, социальным раскладом. Они бунтуют оттого, что ненавидят свои ограничения, желают себе иной судьбы. Им, в каком-то смысле, легко — они неудачники в смысле «маленьких» людей (решившихся стать «большими» или отомстить «большим» за небрежение). Однако они сброшены на дно несчастливой жизни вместе с другими, которым сложнее, чье несчастье в них самих. Таковы «лишние» люди в версии Достоевского, и Ставрогин является абсолютной их кульминацией, воплощением «несчастливого сознания».

Я пробовал везде мою силу... На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною... Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел, не вижу и теперь... (Достоевский, 2020: 603).

Эти строки из предсмертного письма Ставрогина — наиболее исчерпывающее признание в жизненной неудаче, потерянности (так привлекавшей Верховенского, научившегося обращать нечто подобное в силу, черпать из промежуточности энергию), какое только можно представить. Сила, энергия у Ставрогина есть, он признает — и может, ее даже больше, чем у всех остальных неудачников². Но в сердце его реактора, возможно, как раз из-за экстремальности кипящих в нем процессов, чрезмерно сконцентрированной в нем мощи, начинает формироваться своего рода «страпелька» — зародыш будущей черной дыры, которая со временем будет лишь расти и поглощать всю выделяющуюся энергию, пока не схлопнется и не погибнет окончательно. Верховенский, самый близкий и проницательный к безумию Ставрогина, то ли не видел этого, не понимал роковой характер ставрогинской реакции, то ли осознавал —

² «Ставрогин, как Протей, принимает различные формы, прячется под всевозможными масками, но никогда не теряет неукротимой силы своего „я“» (Мочульский, 1947: 347). Сила Я и есть беспокойство «несчастливого сознания», жаждущего исполнения содержанием. Она сама по себе пуста и является лишь запросом. Аналогично у Платона в «Пире» описан Эрот — он стремится к тому, чем сам не обладает, но только желает обладать.

но и рассчитывал на нее, вывел, что та на пути в ничто будет требовать все большей подпитки, и может так сожрать весь мир — ну, или для начала хотя бы страну — открывшись в ее сердце как разрушительный вихрь, воронка, ничем не сдерживаемый водоворот хаоса. Кричит же он Ставрогину: «Аппетит у вас волчий!» (Достоевский, 2020: 381). Но вот чего Верховенский точно не рассчитал, это нынешнего состояния Ставрогина, в котором ничто уже намного больше, чем силы.

Снаружи, конечно, всего этого не видно; снаружи — Россия, хмурая скука и бесящийся «барич» (как именуют Ставрогина многие, включая Верховенского — невзирая на все его фантазии и прозрения в метафизическую сущность Ставрогина. «Дрянной, блудливый, изломанный барчонок» (там же), кричит он в лицо своему кумиру, когда обида от поведения Ставрогина перебивает флер обаяния последнего даже в глазах его преданнейшего и безумнейшего поклонника). Причуды и безумства Ставрогина (в финальном заключении автор решительно отвергает в качестве их объяснения помешательство) вообще легко объяснять просто тем, что Ставрогин образцовый представитель «золотой молодежи» и бесится с жиру, как сейчас говорят, «теряет берега» от собственной родовитости и безнаказанности — преступает законы божеские и человеческие исключительно чтобы испытать острые ощущения, пощекотать нервы себе и другим. Пушкинская и пост-пушкинская критика европейского романтизма (Достоевский поклонник Пушкина, помним) заставляет видеть в Ставрогине наследие бездуховности и сплина последнего — отголосок Фауста, Онегина, Печорина, пресыщенного и скучающего нигилиста («мне скучно, бес» (Пушкин, 1956: 283). Потом Горький и садизм.

Но предсмертное письмо Ставрогина все это опровергает. Мы не будем трогать сейчас тему его одержимости, достаточно присочиненную, как и сам он ее не трогает после визита к Тихону. Главное, что в этом письме (адресованном Дарье Павловне), он последовательно излагает пункты своей жизненной неудачи, для понимания которых вовсе не нужно никаких дополнительных разъяснений, кроме, возможно, одного, самого простого.

Я пробовал везде мою силу... На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною... Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел, не вижу и теперь... Мои желания слишком несильны; руководить не могут... Из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Все всегда мелко и вяло (Достоевский, 2020: 603).

Суть переживаний Ставрогина — это ощущение себя полным, каким-то даже метафизическим ничтожеством³. Банальных несчастий вроде бедности, недоступности «социальных лифтов» и всего такого прочего, в его жизни нет, так что они не застыят ему взор и не дают возложить вину за помрачение его сознания на них. Он, как позже выразится Набоков, сосуд чистого зла, без примесей, высшей пробы. У этого зла (как будто) нет отчетливых внешних причин, оно практически преподносится как *causa sui*, «истый демон». Можно, конечно, спорить, виноват ли его либеральный наставник Верховенский-старший в том, что «отравил» какими-то идеями и примерами своего подопечного в юном еще возрасте. Сложность, скачкообразность повествования не позволяет сделать достоверно таких выводов; «Бесы» — роман-франкенштейн, сшитый из кусков других, несостоявшихся замыслов и соединяющий в себе очень много амбиций. Поэтому при его чтении нам постоянно приходится полагаться на автора и его оракула, рассказчика, следить, в каком направлении они выстраивают и аргументируют повествование, принимать какие-то вещи на веру. Но — одержим ли Ставрогин чистым злом, помешан ли, развращен ли либеральным воспитанием, мы, по чистой совести, судить не смеем. Да и сам Ставрогин прямо пишет: «Я по-прежнему никого не виню» (Достоевский, 2020: 603). Можно, конечно, и в его собственных словах усомниться, недаром Тихон критикует его исповедь в первую очередь за стиль, слог — не заключено ли в нем какое-то лукавство, притворство, глубочайшая неискренность и неправдивость даже при изложении самой что ни на есть правды и при искреннейших попытках быть искренним. Но это все очень сложные игры. Попробуем предположить, что Ставрогин — неудачник, о том и пишет.

Неудача его лишь подчеркивается великолепными исходными обстоятельствами — происхождением, красотой, силой, «привычками порядочного человека», кстати. Но внутри он пуст; ему нечего на самом деле ни противопоставить жизни, ни дать ей. Довольно рано начав осознавать это, он пускается в беспорядочные «поиски себя», пытается

³«Он от всех отдалеяется, делается скептиком, недоверчиво приглядывается к людям и их убеждениям»; строго судит самого себя и приходит к выводу, что он ничто. 15 марта 1870 года Достоевский набрасывает его характеристику: «Князь — человек, которому становится скучно. Плод века русского. Он свысока и умеет быть сам по себе, т. е. уклониться и от бар, и от западников, и от нигилистов... но вопрос остается для него. Что ж он сам такое? Ответ для него: ничто» (Мочульский, 1947: 347).

сообщить себе хоть какое-то содержание из внешнего мира — неважно, хорошее ли, плохое, лишь бы заполниться им, отождествиться с ним и спокойно дальше представляться другим и самому себе: я, Николай Ставрогин, есть то-то и то-то, играю в бытии такую-то роль, и она моя, она — это я, а я — это она. Я аристократ, военный, харизматичный лидер, интеллектуал — или, на худой конец, развратник, подлец, обманщик, «великий грешник» (как первоначально Достоевский планировал назвать роман). Но вся беда в том, что Ставрогин не может этого сделать. Его пустота ни с чем не хочет ассоциироваться, все отторгает.

Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата (Достоевский, 2020: 603).

Проблему подобного рода можно было бы определить как «фундаментальный кризис самоидентификации», вплоть до трещины в ядре личности. Ставрогин перебирает все в мире — и ни на чем не может остановиться, поскольку чувствует, что все это *не то*, все это ничего ему не дает, не достает до дна его существа, а при том доставать должно бы. В конце концов, добро и зло (разврат) Ставрогина — не противоречия, не знак запутанности. Это попытки, после неудач с мирским, посюсторонним, заполнить себя величайшими вещами из запредельных измерений, «первыми началами и последними основаниями», как сказали бы философы, найти прибежище у Бога или дьявола. Но и они не признают Ставрогина за своего, не впускают его в мир даже через черную дверь. Значит, мир исчерпан; ничего не осталось. Тогда проблема в самом Ставрогине — он подделка, обман, насмешка, призрак. И самое логичное для такого существа — исчезнуть, актуализировать свою небытийственность в акте самоуничтожения.

«Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое...» (там же: 604). Самоубийство в данном случае служит не бегством, а окончательным признанием и саморазоблачением — «я именно что и есть мертвец, увидите же это». Но с самоубийством Ставрогин попадает в последний парадокс. Он уже настолько хочет обнажить всем свое небытие, что начинает бояться, как бы акт самоубийства не сокрыл его истину, вместо того чтобы раскрыть ее. Ставрогин — пустота даже за пределами отрицания, а самоубийство может выглядеть всего лишь как акт отрицания, как иллюзия какой-то,

пусть и негативной, идеи, содержания за душой у Ставрогина. В то время как ее нет, и в этом-то и причина.

Я боюсь самоубийства... Великодушный Кириллов не вынес идеи — и застрелился. Я не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не смогу застрелиться! Ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман — последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодования и стыда во мне никогда быть не может; стало быть, и отчаяния (Достоевский, 2020: 604).

Ставрогин — пустая, беспокойная сила, так и не обретшая содержания. Он потерпел неудачу в попытках *gnōti seautou* («познай самого себя»), и теперь он не может вынести своего «посторонничества» всему (А. Камю), того, что он «ни холоден, ни горяч». Его последние эскапады — брак с юродивой и публичное признание в нем, желание уехать в Швейцарию и там «сорок лет сидеть на горе» — не такой уж и абсурд, и даже не унижение/поражение.

Это попытка нащупать последнюю лазейку в бытие, наполниться хотя бы убогим и ничтожным, но содержанием (раньше-то Ставрогин искал сплошь великих вещей, мирских ли, потусторонних). Гложущую героев Достоевского «тоску небытия» (по А. Блоку) итожит черт из наваждения Ивана Карамазова, который страсть как хочет воплотиться «без остатка» в семипудовую купчиху, и видит в этом какой-то ослепительный триумф⁴.

Откуда берутся такие, как Ставрогин, люди с дырой в душе? На этом поле борются не то что дьявол с Богом, а скорее медицина с религией. Но — помешательство, т.е физиология, автором отвергнуто. Значит, бес, чистое зло? Или ложные идеи? Кто-то, возможно, сказал бы, что неудовлетворенность миром и путями, им предлагаемыми — это не закоренелый нигилизм, а нормальный этап духовного развития человека, ищущего несомненных вещей, на которые бы он хотел опереться и обрести себя в следовании им. Ставрогиным на этом пути движет какая-то исключительная энергия. Но в итоге ни к чему не приводит.

⁴Ф. А. Степун тоже видит в этой тяге из ничто к жизни характерную черту Ставрогина. «Омертвевшая, оторванная от корней бытия душа Ставрогина все же тоскует о жизни и действии, на что она по своей природе и по пройденному жизненному пути - не способна. Для утolenия этой тоски она, безликая, перевоплощается в любые обличия и, не верующая ни в какие идеи, отравляет своими вымыслами сердца и сознания своих многоликих двойников; похотливо наслаждаясь своею властью над ними, эта опустошенная душа ощущает, что она живет» (Степун, 1991: 365–376).

Он проживает мир насквозь, даже с Богом и дьяволом вместе, и падает за пределы всего в ничто. Когда-то давно античные философы испугались, что ничто, небытие может каким-то образом все же *быть*. Ставрогин, кажется, создан автором с целью доказать это⁵.

РОССИЯ = ХАОС?

Если ничто — просто ничто, и равно в этом качестве себе, разговор на этом заканчивается. Это все равно что развести руками и сказать «случилось то, что случилось, и все, и больше ничего». Но если все же ничто — это «ничто» в кавычках, некий эффект (а именно так, воздействуя на душу и проявляясь на ней, оно и обнаруживается), тогда у этого эффекта может быть причина. Вяч. Иванов и солидарные с ним критики «Бесов» ловко избегали этого вызова, признав роман «символическим»⁶, а Ставрогина выставив «собирательным образом» и «парафразом». Действительно, если Ставрогин — символ, некий образ духа в его проблематичности, можно рассматривать его «обреченность» как необходимый элемент некоего интеллектуально-духовного уравнения, формулы⁷, и не впадать в мучительные противоречия линии этого

⁵Обычно у-ничто-женность, обнуленность, омертвелость Ставрогина приводят как доказательство воплощения в нем какого-то дьявольского начала или принципа. Ф. А. Степун в работе «Бесы и большевистская революция» постановляет это со всей отчетливостью: «Ставрогин является сыном небытия, а тем самым уже и слугою антихриста» (Степун, 1991: 365–376). Это как будто согласуется с позицией самого Достоевского, который в «Повести о великом инквизиторе» именует дьявола «духом разрушения и небытия». Но предсмертное письмо Ставрогина, если ему верить, указывает, что дьявол — по крайней мере, дьявол порочного действия — отброшен Ставрогиным как опять же что-то слишком конкретное и наличное по сравнению с его собственной пустотой. В этом смысле Ставрогин соревнуется не с Богом, как Кириллов, а с дьяволом, пытается переиродить Ирода — а точнее, не сам Ставрогин, а Достоевский, выводя его.

⁶«Роман „Бесы“ — символическая трагедия, и символизм романа — именно тот „реализм в высшем смысле“, по выражению самого Достоевского, который мы называем реалистическим символизмом» (Иванов, 1994: 306). Нечто сходное заявляет и Н. Бердяев: «Постигнуть Ставрогина и „Бесы“ как символическую трагедию можно лишь через мифотворчество» (Бердяев, 1914: 80).

⁷Так это видит С. Н. Булгаков: «Трагедией в указанном смысле, несмотря на отсутствие внешней драматической формы, являются и „Бесы“. Уже в первых его аккордах слышится неотвратимый приговор, предначертывается неизбежная гибель героев во взаимной сплетенности их судеб. Содержание трагедии есть поэтому внутренняя закономерность человеческой жизни, осуществляющаяся и раскрывающаяся с полной очевидностью при всякой попытке ее нарушить, отклониться от ее орбиты. Отсюда — возвышающий, а вместе и устрашающий характер трагедии:

героя у Достоевского. Но если мы отсечем бритвой Оккама императивно поставленные автором или его поклонниками ответы, тогда — эффектом чего может быть «ничто», снедающее душу Ставрогина?

Мы предположили, что ситуация «Бесов» — это своего рода алхимия сущностей в душе персонажей, ведьмин котел, где они соединяются, реагируют друг на друга, взрываются и выкипают. Но под этим котлом зажжен огонь, и есть лачуга, где он дымит, и лес за ее окнами. Мир «Бесов» — Россия, и даже если сами «Бесы» и не мистерия русской души, тем не менее, это история о России и про Россию. Что в самой России, без ссылок на «народную душу» и ее мифологемы, располагает к описанному автором брожению, непрестанному порождению взрывоопасных неудачников?

Объяснение — точнее, одно из объяснений — еще точнее, зародыш одного из таких возможных объяснений — содержится в уже цитированной фразе оракула-рассказчика о «сволочи», предсказуемо выползающей из щелей во времена «перехода» или «колебания». И вот это уже интересно, потому что эту тему Достоевский, в отличие от других, мало затрагивает. Что это за переход или колебание? Если колебание, тогда все понятно — колеблется правильный порядок вещей, на него нападают силы разрушения. Но вот если переход — это совсем другая история. Тогда происходящее не Армагеддон, не обрыв истории, а ее трансформация. Значит, явление бесов — не катастрофа, а часть превосходящего наше понимание, но все же естественного порядка вещей. Происходит то, что должно происходить. И здесь мы от индивидуальных алхимических реакций переходим к глобальным, историческим. Элементы, сложные внутри себя, в рамках объемлющего их большего процесса брожения сами упрощаются до его атомов и реагентов. Время кризиса маркирует превращение всей страны в поле борьбы сил, в единую душу, где сталкиваются дьявол и Бог. Это не символистская мистерия в стиле В. Иванова, а скорее, философская аллегория в стиле Т. Гоббса и его «Левиафана», где все люди сливаются в единого человека, олицетворяющего государство. Под воздействием разных сил в средоточии общественной жизни тоже начинает кипеть непредсказуемая реакция. Страна делается похожей в такие моменты на самых хаотичных своих представителей; а они, с обостренной чувствительностью, реагируют на этот этап истории как на свое, родное время, призывающее именно

и некая высшая обреченность ее героев, и непререкаемая правда этой обреченности» (С. Н. Булгаков, 1914: 1).

их, дающее им перспективы и простор для действий⁸. Происходит совпадение микрокосма и макрокосма, уподобление, отражение одного в другом. И борьба неудачников, отверженных, хаотиков между собой превращается в нечто большее, чем партийные склоки. Решается вопрос, кто из них станет матрицей, с которой отождествится вся страна. Структурное подобие уже есть, осталось восхождение.

Трудно сказать, где тут курица, а где яйцо, что причина, что следствие. Да это и вопрос для Третьего отделения, а не для исследования. Так или иначе, одно несомненно: во времена «колебания» и «перехода» (кто бы ни колебал и куда бы ни переходили) брожение охватывает как отдельные души, так и все общество в целом. И тогда возникает вопрос: это просто цепь внешних неудач омрачает жизнь страны (а мы помним, губернский фон для хроники «Бесов» не слишком-то благополучный: там тебе и мор, и неурожай, и рабочие волнения, и Бог знает что еще), или вырвалась на поверхность какая-то внутренняя болезнь, глубинное напряжение, говоря гегелевским языком, фурия исчезновения? Иначе говоря, Россия из «Бесов» больше похожа на Верховенского — или на Ставрогина? Колебание или переход происходят с ней? Революция или гибель ждут ее?

МИНЫ ПОД ИСТОРИЕЙ

Зерна возмущения и бунта дремлют в любом устоявшемся социальном порядке, где одни — «твари дрожащие», а другие «право имеют». Такая картина мира притягивает на то, что роли в ней закреплены за участниками чуть ли не изначально. Еще Гераклит возводил это правило в закон бытия: «Война — отец всех существ и царь всех существ; одних она обращает в богов, других в людей, одних делает рабами, других — свободными» (Лебедев, 2014: 155). Это языческий принцип, но люди во многом продолжают жить по нему и ориентироваться на него. Сам Зевс, верховный бог, достает из чаши людские жребии, и одни хороши, а другие плохи (вспомним, Пушкин иронизирует над этим в начале «Евгения Онегина», когда замечает, что Онегин получил свое благосостояние «всевышней волею Зевеса»). Была еще древняя поговорка, согласно которой боги возникают из улыбки Зевса, а люди —

⁸ «Люди социальных низов в произведениях Достоевского — самый тонкий и самый точный художественный индикатор процессов, происходящих в обществе, ибо они как бы концентрируют и добродетели и пороки своего времени, дух своей эпохи» (Сараскина, 1990: 157).

из его слез; две маски — улыбающаяся и плачущая — украшают античный театр, и может быть, вообще знаменуют весь мир как своего рода театр, в духе Шекспира. Идея, что все стоит на каком-то изначальном распределении ролей, звучит и в гумилевском «театре господина Бога» (Гумилев, 1990: 103), и в пастернаковском «продуман распорядок действий и неотвратим конец пути» (Пастернак, 2016: 266). Таково буквальное воплощение предопределения, или даже Провидения.

Разумеется, не все так просто и в том же античном язычестве. Аристотель в учении о трагедии приходит к выводу, что для хорошего представления необходима какая-то промежуточность персонажа: неопределенность его морального облика («не слишком хорош и не слишком плох»), нерешенность его судьбы. Да и не только трагедии это касается. Возможно, это ключ к пониманию существеннейшего у Аристотеля, если не вообще у греков — что, очевидно («другой вскочил и стал пред ним ходить»), имеется какая-то динамика в бытии. Уже для «отца нашего Парменида», по Платону, требовало невероятного усилия признать диалектический взаимооборот бытия и небытия. Аристотель, подводящий итоги мышления, пошедшего с роковой озабоченности Парменида вопросом о бытии небытия, делит мироздание на надлунную, жестко законсообразную сферу, и подлунную, область возможностей (вводя этот термин в философский обиход) и постоянных пере-решаний. Отсюда недалеко уже и до христианской «свободы воли» как принципиального определения человека, и до упоминаемой Князем в черновиках «Бесов» чеканной формулы: «ангел не падает; бес до того упал, что всегда лежит; человек падает и восстает».

Но все же неудача продолжает править человеческой судьбой, или как минимум отбрасывать на нее свою тень. Терпя неудачу, мы завистливо оглядываемся на других, которые продолжают свой путь по солнечной стороне. И наши страдания множатся, если неудача перманентна, а цель, которую мы сочли благой и подходящей, чтобы поставить ее перед собой, все отодвигается в недостижимую даль, окутывается ощущением зловещей, издевательской недоступности. Если мы не находим недочета в ней самой или в нашем расчете к ней, мы не можем не поддаться, хотя бы на каком-то этапе, суеверному чувству, что мир несправедлив к нам и что само устройство вещей отказывает нам в удовлетворении нашей мечты и унижает наше человеческое достоинство. Нам даже легче, если все вокруг несчастны, как и мы, по одной и той же внешней причине; в таком случае нам

легко образовать с ними братство неудачников и испытывать к своим товарищам хоть какую-то теплоту. Но не дай бог, кому-то из них улыбнется удача. Мы сразу возненавидим его, и весь наш союз доброты и терпимости откроет абсолютную свою ложность, что блистательно описано Горьким в «На дне».

Общество, коллективный разум людской, сознавая, насколько нетвердо и непрочно все в «подлунном мире», оправданно стремится обезопасить себя от дальнейших пертурбаций, остановив круговорот восхождений и низвержений, или как минимум, пронизав его какими-то константами. Вот что имел в виду Гераклит: закрепить установившийся порядок, каким бы несправедливым тот ни казался. Пусть, действительно, в ходе очередной войны кто-то пришел к власти, ниспровергнув другого. Хорошо. Сделаем его и вправду правителем, узаконим его право, признаем, что дальше нами и нашими детьми будут править он и его дети. Случайность обожествляется во имя стабильности.

Но сознание человека не переписывается и тысячелетней традицией. Если человек — раб, и смотрит на господина, и понимает, что тот — господин лишь потому, что века тому назад его предок выиграл себе право считаться таковым, а потом вбил это в закон, обеспечив сохранение и передачу этого статуса; да и он, раб, раб тоже просто по наследству, поскольку его предок, в свою очередь, сплеховал, не проявил себя, не взял в должный момент свою судьбу в свои руки — что тогда? Еще до Оруэлла с его издевательским «все животные равны, но некоторые равнее других» если не сознание, то подсознание человека европейской христианской цивилизации жило с мыслью (в духе Кириллова, невыносимой), что, с одной стороны, все мы пали, согрешив во Адаме — т. е., все мы, люди, стали одинаково плохи и равны перед Богом в своем преступлении и наказывающем его ничтожестве; всех людей постигла великая, космическая неудача. С другой же стороны, какой-то отдельной поправкой к своему же закону Бог возвышает одних грешников над другими и дает им власть, почести и радость довольной жизни в горьком земном изгнании. Контртезис — что господство и высокое положение, дескать, не пряник, а кнут, не привилегия, а лишь большая ответственность, возлагаемая на власть имущего все тем же Богом, причем за нас, нерадивых и неказистых — легко разрушается, стоит посмотреть на поведение власть имущих. Тогда остается лишь довольствоваться горькой мыслью, что помыкание одних другими — не исконный Эдем и даже не искупление на обратном пути к нему,

а лишь усугубляющееся наказание от жестокого Бога, причем безо всякой надежды и просвета. Всякая власть от Бога, любят указывать разного пошиба государственники; но и дьявол — власть, и он тоже от Бога. Дальше вопрос лишь в том, терпеть это или нет — как терпели евреи рабство от других народов, и как всегда страшный угнетатель, от Аттилы до монголов, объявлялся «бичом Божиим» и особым оружием Бога, испытанием, призванным принудить людей к благочестию и смирению. Авторитет Бога и сила покорителя заставляют терпеть.

Однако сам Бог может вдруг изменить свою волю. И тогда является от Зевса, по воле Олимпа и во исполнение пророчеств, Геракл, чтобы освободить Прометея. Гераклов, по Гельдерлину, названный брат Христос приходит, чтобы изгнать из мира дьявола, ибо тот больше не нужен. Довольно пасти народы железным посохом, не разбирая ни добра, ни зла. На смену царству закона приходит царство благодати. Кесарю кесарево, а богу божье. Христос приходит не к царям, фараонам и кесарям, чтобы их сделать Своими апостолами и спасти тем самым их царства. Он, по сути, отменяет привычную диспозицию «высших» и «низших». При этом Он не призывает к банальному перевороту («кесарево» все же причитается кесарю, а не себе любимому), к тому, чтобы одни просто заняли место других, чтобы прежние притеснители и притесняемые банально обратились вокруг столпа мирской удачи. Тогда бы суть Его прихода свелась к установлению нового царства поверх прочих, а Его избранные клеветы, прислужники нового трона, приняли бы помыкать своими вчерашними господами. Но Христос не возвещает никакого иного царства, кроме царства Божия, которое «не от мира сего», и в котором «несть эллина, несть иудея».

Воспринята ли эта весть? Ведь не только дьявол, но и старый жестокий Бог противятся ей, не говоря уж о языческих богах, привыкших к поклонению и дрожащих за свои капища в родных лесах, болотах и пустынях. «Оно никогда не настанет!», кричит Пилат в лицо Иешуа у Булгакова, отрицая возвещенное последним царство истины и справедливости (М. А. Булгаков, 1988: 30). Рабы по-прежнему будут рождать рабов, а господа — править ими, а самими господами будет править страх оказаться на месте рабов. Все будет, как и встарь, решать сила и дурной случай. Самого Христа объявят бунтовщиком и даже дьяволом — искусителем, подбивающим на немислимое и изгоняющим бесов силой князя бесовского. Даже его собственное детище, церковь, станет, по мысли Ницше, скорее «камнем на могиле богочеловека», поскольку «непременно хочет, чтобы он не восстал

снова» (Ницше, Свасьян, 1996: 733). Достоевский ругает католицизм за то, что тот якобы проповедует Христа, поддавшегося на третье искушение сатаны, т. е. на соблазн мирского царства. Но разве Россия Достоевского не то же самое, а то и нечто худшее, разве она не подменила веру в Бога упованием на какого-то особого «русского Бога», не поклонилась кесарю, не отдалась дьяволу и языческим богам (славянофильство), не погрязла в гордыне и самодовольстве, не оперлась целиком на силу и власть? А такая Россия — идеальное место для бесов, страна-неудачник, вечно бурлящий ведьмин котел.

НЕУДАЧА РОССИИ.

БЕСЫ — ТЕНДЕНЦИОЗНЫЙ ПАМФЛЕТ ИЛИ ВСЕСТОРОННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ?»

Достоевский не настолько верноподдан и реакционен (да и слишком гениален), чтобы не сознать всех этих проблем. Он допускает и что любимое его славянофильство не слишком хорошо — один переход от «Идиота» к «Бесам», от Мышкина — к Шатову, признающему, что вера в истинного Христа, а не в «народного бога», для него недоступна, чего стоит. Часто цитируемая фраза, которую приписывают самому Достоевскому (Достоевский, 2020: 228):

Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?

— Шатов произносит ее, но принадлежит-то она Ставрогину, «сердцу тьмы», который, как настаивает тот же Шатов, когда-то его вдохновил. Если в предшествующем «Бесам» романе «Идиот» славянофильские положения озвучивает трогательный и чуть ли не святой князь Мышкин, то передоверие подобных реплик Шатову уже носит сумрачный оттенок, не говоря об упоминании в данном контексте Ставрогина. Шатов в чем-то наследник Мышкина, недаром он так предан своей жене (Мышкин вот спасал Настасью Филипповну; рыцарственное отношение к женщине, хотя бы попытки его — это несомненный маркер «положительности» для героев Достоевского). Но все же Шатов нервный, издерганный, злобный человек, вовсе не «блаженный» Мышкин, и невольный, но член общества Верховенского. Так что, если Достоевский что и предвидел, то это падение русской веры в богоизбранность своей страны и народа до полного дьявольского оборачивания ее в свою противоположность — или, наоборот, до абсолютного в ней осуществле-

ния? О неотличимости этих вещей говорил и Бердяев, постановивший, что русскому народу подавай только крайности, и если не удастся ему единение и братство людей во Христе, то он, приняв социализм, склонится к единению и товариществу людей в Антихристе⁹. Шатов, со всеми своими крайностями и исканиями, обречен; его метания, шатания (на что указывает фамилия) бесполезны; любовь к жене не спасет его. Да и сама его жена, вместе с новорожденным ребенком, тоже обречена и в конце погибает — легко считываемая метафора нежизнеспособности славянофильской идеи, выраженной в Шатове. Но как если бы этого было мало, мы узнаем в «Бесах», что и сама идея эта подсказана «князем бесовским», Ставрогиным. Светлый Мышкин пал и разбился о дно русской преисподней на тысячу кусков. Его искаженные отражения угадываются в истеричном Шатове, в «князе», что мерещится Хромоножке в Ставрогине, в подозрениях на падучую у идейного самоубийцы Кириллова. Позже Достоевский будет планировать и для своего святого Алеши переход к революционерам в ненаписанной третьей части «Братьев Карамазовых». Не случайно.

Россия Достоевского — не фольклорный образ страны, готовой потерпеть жизненные неурядицы, но счастливой, невзирая на них, от высшей своей удачи — истинной веры в истинного Бога, сообщающей народу силу и радость. Россия терпит роковую неудачу прежде всего с верой и в веру своей. Думая, что находится на пути к Богу, она обнимает дьявола и рождает бесов. При этом, пожертвовав во имя веры своей презренным, земным (как ей представляется), она лишается и его, точнее, так его и не обретает. Двойная неудача — ни комфорта, ни спасения. Все сгорает, как в финале «Бесов» от поджогов, или, по слову Кармазинова, уходит просто в «грязь». Ставрогин не доедет до своего домика в швейцарских горах, не обретет обывательского счастья. У Булгакова мастер сочтен недостойным света, но ему хотя бы не отказывают в покое. Достоевский отказывает героям «Бесов» (и не только) как в свете,

⁹«Русский народ, как народ апокалиптический, не может осуществлять срединного гуманистического царства, он может осуществлять или братство во Христе, или товарищество в антихристе. Если нет братства во Христе, то пусть будет товарищество в антихристе. Эту дилемму с необычайной остротой поставил русский народ перед всем миром» (Бердяев, 1991а: 486). В другом месте Бердяев возводит исток этого прозрения в метафизическую сущность русского народа к Достоевскому: «Достоевский раскрыл, что природа русского человека является благоприятной почвой для антихристовых соблазнов. И это было настоящим открытием, которое и сделало Достоевского прорицателем и пророком русской революции» (Бердяев, 1990а: 138).

так и в покое. Все, что он может предложить — это, в общем, каторга, заключение (через которое прошел он сам). Как арестант-ссылный Шмидт у Пастернака: «Каторга, какая благодать!» (Пастернак, 1961: 364). Раскольников, Митя Карамазов, подельники Верховенского, не выдержавшие убийства Шатова и облобызавшие сапоги жандармов, одеваются автором только этой благодатью — и никакой другой. Признать свое *преступление* (первородный грех) и понести заслуженное *наказание* (страдание) — вот единственный путь для человека. Мысль Достоевского проста: все *идеи* плохи. Все идеи — бесы, или трихины, одержащие разум человеческий, как в кошмаре Раскольникова. Славянофильство не лучше западничества. Мысль, если дать ей волю, сведет с ума (что случилось с Кирилловым). Требуется выйти за порог мысли, «приникнуть к земле», принять и претерпеть истинный удел человеческий: страдать и радоваться тому. Верховенский-старший, хоть и смешон, кричит сыну: «Понимаешь ли ты, что человеку кроме счастья, так же точно и совершенно во столько же, необходимо и несчастье?» (Достоевский, 2020: 198). Он, как и Кармазинов, неприятный, местами карикатурный персонаж, но через кого, как не через неприятных персонажей, озвучивать неприятные мысли? Не кто иной, как Степан Трофимович поднимает тему, что сама Россия есть нечто неудачное, что она идет по неверному пути, оттого в ней так много несчастных людей, мучающихся от своей и ее судьбы.

Тут просто русская лень, наше унижительное бессилие произвести идею, наше отвратительное паразитство в ряду народов. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты! (там же: 197)

Но при этом он твердо верит, что единственное спасение России — во Христе, причем в самом Христе, а не в христианстве. Именно его речью завершается роман и объясняется его название, взятое из евангельской притчи. Она же служит заповедью и завещанием.

Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»... и будет все глядеть с изумлением... (там же: 585–586)

Избавление от «бесов» происходит в чуде и как чудо, как нечто и непосредственное, и запредельное. Вот та великая последняя удача, на которую уповают неудачники Достоевского. Она не в том, чтобы, как часто кажется, противопоставить плохой идее — хорошую, «загнившему» католицизму — «здоровое» православие, смешному и вредному западничеству — возвышающее народный дух славянофильство. Нет, тут чума на оба дома. Да и не сильна Россия в идеях, всегда вторична, всегда «паразит». В интеллектуальной истории мира она троечник и неудачник. Но эта неудача высвечивает иное ее призвание, предназначение, демонстрируемое лишь действием и претерпеванием, и даже в большей степени претерпеванием.

Апелляция к евангельской истории про одержимого — чрезвычайно значительный мотив «Бесов», который до сих пор, кажется, не получил достаточного освещения. Россия не просто так уподобляется Достоевским через речь Верховенского одержимому. И дело не в том, что она-де одержима темными силами. А в том, что этот одержимый — один из эпизодических, если угодно, персонажей Евангелия, формирующих вокруг Христа иной круг, несхожий с кругом его учеников-апостолов. Апостолов Христос учил, исполнял Божией мудрости и святого духа. Он, если угодно, давал им *идеи*. Но не зря упоминаются в Евангелии и другие — затронутые Христом, кто, не следуя за Ним и не будучи против Него, не столько воспринял Его мудрость, сколько претерпел Его силу, оказался изменен Его непосредственным действием или участием, в один-единственный судьбоносный момент. Таков Лазарь, воскрешенный Им; таков Гадаринский одержимый, избавленный Им от бесов; Симон, помогший Ему нести крест; разбойник, признавший в Нем Сына Божия на Голгофе. Даже Агасфер, отказавший Ему в отдыхе и ставший в итоге вечным скитальцем, принадлежит к этому странному «второму кругу». Своей аналогией России с одержимым Достоевский, кажется, хочет в очередной раз сказать: Россия — не страна идей, она не из апостольского круга слышавших, сказавших, написавших (вот почему в ней так много носящихся с идеей написать, наконец, собственное Евангелие)¹⁰. Она из круга исцеленных, спасенных, воскрешенных. Христос важен для русского духа как сила и реальность, едва ли не

¹⁰ «Многие думают, что достаточно верить в мораль Христову, чтоб быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христово спасёт мир, а вера в то, что Слово плоть бысть. Вера эта не одно умственное признание превосходства Его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощённое Слово, Бог воплотившийся» (Мочульский, 1947: 351).

физическая, а не как послание и смысл. Россия должна испытывать на себе благодать Христа, проживать Его пришествие и присутствие «на самом деле». Она действительно неудачная страна и страна неудачников, однако к этому провалу ее подводит логика поиска и обретения себя в евангельском мифе. Отсюда повторяющийся мотив в финале романов «великого пятикнижия» Достоевского — его герои, несчастные и потерянные, утешаются чтением одной из таких вот евангельских историй, обращенных не к уму, а к надежде.

СОКРАЩЕНИЯ

- Д15 *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений : в 15 т. / под ред. В. Н. Захарова. — М., Л. : Наука, 1988–1996.
Т. 4 : Униженные и оскорбленные. Повести и рассказы, 1862–1866. Игрок / под ред. В. А. Туниманова. — 1989.

ЛИТЕРАТУРА

- Бердяев Н. А.* Ставрогин // Русская мысль. — 1914. — Т. 5. — С. 80–89.
Бердяев Н. А. Духи русской революции // Литературная учеба. — М. : Молодая Гвардия, 1990а. — С. 123–139.
Бердяев Н. А. Демократия, социализм и теократия // Новое средневековье : Размышление о судьбе России и Европы. — М. : Феникс, 1991а. — С. 465–486.
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Избранная проза. — Фрунзе : Адабият, 1988.
Булгаков С. Н. Русская трагедия // Русская мысль. — 1914. — Т. 4. — С. 1–26.
Гумилев Н. С. Стихи. Письма о русской поэзии. — Фрунзе : Художественная литература, 1990.
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. — М. : Издательство ЭКСМО, 2020.
Иванов В. Родное и вселенское. — М. : Республика, 1994.
Лебедев А. В. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова (с новым критическим изданием фрагментов). — СПб. : Наука, 2014.
Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. — Париж : YMCA-Press, 1947.
Ницше Ф. Злая мудрость. Афоризмы и изречения / пер. с нем. К. А. Свасьяна // Сочинения. В 2 т. Т. 2 / под ред. К. А. Свасьяна ; пер. с нем.

В набросках к «Бесам» эта мысль, кстати, принадлежит Князю, то бишь, прообразу Ставрогина. Но тогда Достоевский видел этого персонажа намного шире и вмещал ему, в том числе, и несомненно положительные свои соображения, поскольку планировал спасти его и привести к жизни в вере.

Я. Бермана, Г. А. Рачинского, К. А. Свасьяна, С. Л. Франка. — М. : Мысль, 1996. — С. 720–768.

Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. — М. : Государственное издательство художественной литературы, 1961.

Пастернак Б. Л. Свеча горела. — М. : Издательство «Э», 2016.

Пушкин А. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2 / под ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди. — СПб. : Изд-во Академии наук СССР, 1956.

Сараджина Л. И. «Бесы» : роман-предупреждение. — М. : Советский писатель, 1990.

Степун Ф. А. Бесы и большевистская революция // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси / под ред. М. Назарова. — М. : Столица, 1991. — С. 365–376.

Murzin, N. N. 2021. "Neudacha kak filosofskiy syuzhet v tvorchestve Dostoyevskogo [Dostoevsky as the Philosopher of Failure]: na primere romana 'Besy' ['Demons' and Losers Unleashed]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 5 (3), 92–116.

NIKOLAY MURZIN

RESEARCH FELLOW

INSTITUTE OF PHILOSOPHY RAS (MOSCOW, RUSSIA); ORCID: 0000-0002-0439-2019

DOSTOEVSKY AS THE PHILOSOPHER OF FAILURE

"DEMONS" AND LOSERS UNLEASHED

Submitted: Mar. 02, 2021. Reviewed: Aug. 26, 2021. Accepted: Sept. 03, 2021.

Abstract: Dostoevsky's characters are often portrayed as unhappy people suffering from the deepest personal crisis or going through total life disorder, chaos in thoughts, failure of plans and desires. In fact, such troublesome state of affairs becomes natural to them. They go on emerging in it, feeling constantly unsatisfied with what they are (and usually they are nothings, non-entities), alienated from everything and everyone. Western philosophical tradition sees some not-too-dark version of such state as a dramatic norm of human existence and beginnings — from Heraclites' fate-challenging War and Parmenides' naught-coming-to-being to Plato's Eros longing for what he is and has not and Hegelian *Unglückliche Bewußtsein* meaning that consciousness in the form of Self is only a sketch that has yet to define and fill itself with true substance. But Russian literary-philosophical discourse (Dostoevsky's being the significant representative of it) regards this situation as catastrophic, and the idea of creature-in-need-of-its-own-being absurd, threatening and finally demonic. Those lost and darkly brooding Selves, if according to it, produce with their unrest a whirl of destructive energy, essentially leading all the world around them to moral devastation, cultural nihilism and murderous revolts. Dostoevsky defies dialectics; there is only Life (real, true, present, godly) and deadly,

lying, unshaped Evil confronting and marring it, with no processional in-betweens and mathematically neutral balance. The failed man penetrating the body of Life is indeed an agent of Evil, and his personal failure is the first sign of a more dreadful ruination to come from the dark side of existence, exactly through him.

Keywords: Failure, Dostoevsky, Demons, Stavrogin, Verkhovensky, Nothingness, Negation, Revolution, Slaves and Masters, Slavophilia, Russia, Christ.

DOI: 10.17323/2587-8719-2021-3-92-116.

REFERENCES

- Berdyayev, N. A. 1914. "Stavrogin [Stavrogin]" [in Russian]. *Russkaya mysl' [Russian Thought]* 5:80–89.
- . 1990. "Dukhi russkoy revolyutsii" [in Russian]. In *Litepatyynnaya ycheba [Literary Studies]*, 123–139. Moskva [Moscow]: Molodaya Gvardiya.
- . 1991. "Demokratiya, sotsializm i teokratiya" [in Russian]. In *Novoye srednevekov'ye [The New Middle Ages] : Razmyshleniye o sud'be Rossii i Yevropy [Reflection on the fate of Russia and Europe]*, 465–486. Moskva [Moscow]: Feniks.
- Bulgakov, M. A. 1988. *Master i Margarita. Izbrannaya proza [The Master and Margarita. Selected Prose]* [in Russian]. Frunze: Adabiyat.
- Bulgakov, S. N. 1914. "Russkaya tragediya [Russian Tragedy]" [in Russian]. *Russkaya mysl' [Russian Thought]* 4:1–26.
- Dostoyevskiy, F. M. 1989. *Unizhennyye i oskorblennyye. Povesti i rasskazy, 1862–1866. Igrok [Humiliated and Insulted. Novellas and Short Stories, 1862–1866. The Player]* [in Russian]. Ed. by V. A. Tunimanov. Vol. 4. Moskva [Moscow] and Leningrad: Nauka.
- . 2020. *Prestupleniye i nakazaniye [Crime and Punishment]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izdatel'stvo EKSMO.
- Gumilev, N. S. 1990. *Stikhi. Pis'ma o russkoy poezii [Poems. Letters about Russian Poetry]* [in Russian]. Frunze: Khudozhestvennaya literatura.
- Ivanov, V. 1994. *Rodnoye i uselenskoye [Native and Universal]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Respublika.
- Lebedev, A. V. 2014. *Logos Geraklita. Rekonstruktsiya mysli i slova (s novym kriticheskim izdaniyem fragmentov) [Heraclitus' Logos. The Reconstruction of the Thought and Word (With the New Critical Edition of the Fragments)]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Nauka.
- Mochul'skiy, K. V. 1947. *Dostoyevskiy. Zhizn' i tvorchestvo [Dostoevsky. Life and Work]* [in Russian]. Parizh: YMCA-Press.
- Nietzsche, F. 1996. "Zlaya mudrost'. Aforizmy i izrecheniya" [in Russian]. In vol. 2 of *Sochineniya [Works]*, ed. and trans. from the German by K. A. Svas'yan, 720–768. 2 vols. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Pasternak, B. L. 1961. *Stikhotvoreniya i poemy [Verses and Poems]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Gosudarstvennoye izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury.
- . 2016. *Svecha gorela [The Candle was Burning]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Izdatel'stvo "E".

- Pushkin, A. S. 1956. [in Russian]. Vol. 2 of *Sobraniye sochineniy [Sollected Works]*, ed. by D. D. Blagoy and S. M. Bondi. 10 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Izd-vo Akademii nauk SSSR.
- Saraskina, L. I. 1990. “Besy” [“Demons”]: roman-preduprezhdeniye [A Warning Novel] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Sovet-skiy pisatel’.
- Stepun, F. A. 1991. “Besy i bol’shevist-skaya revolyutsiya” [in Russian]. In *Russkoye zarubezh’ye v god tysyacheletiya kreshcheniya Rusi [The Russian Diaspora in the Year of the Millennium of the Baptism of Russia]*, ed. by M. Nazarov, 365–376. Moskva [Moscow]: Stolitsa.